



*Я встречу Вас...*  
*Пушкины и любовь*

**Анна Керн**

**Чудное мгновение**

*Дневник музды  
Пушкина*

# Анна Петровна Керн Чудное мгновенье. Дневник музы Пушкина

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8254348](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8254348)*

*Чудное мгновенье. Дневник музы Пушкина / Анна Керн.: Алгоритм; Москва; 2014  
ISBN 978-5-4438-0805-5*

## **Аннотация**

Имя Анны Петровны Керн обессмертил Пушкин своим лирическим шедевром «Я помню чудное мгновенье». Общество этой незаурядной, редкого обаяния женщины любили Пушкин и Глинка, Дельвиг и Веневитинов... Какой она была, реальная Анна Керн, из рода состоятельного чиновного дворянства, в замужестве Маркова-Виноградская? Каким она видела боготворившего ее русского гения? Какие чудные мгновенья испытала в жизни, не всегда благосклонной к ней? Как нельзя лучше об этом свидетельствуют страницы ее собственных воспоминаний и дневников, которые читаются как увлекательный роман.

## Содержание

Воспоминания о Пушкине	4
Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке	18
Дельвиг и Пушкин	34
Три встречи с императором Александром Павловичем	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# Анна Петровна Керн Чудное мгновенье. Дневник музы Пушкина

## Воспоминания о Пушкине

Вам захотелось, почтенная и добрая Е.Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну с начала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных.

Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною вам Анною Николаевною Вульф, до 12 лет возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.

В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого<sup>1</sup>, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты, хотя там и не танцевали, по причине траура при дворе<sup>2</sup>, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в *charades en action*<sup>1</sup>, в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости – Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.

В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: «Рад, очень рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина<sup>3</sup> и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев<sup>4</sup> и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего Осла. И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!»<sup>5</sup>

В чаду такого очарования мудро было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?»<sup>2</sup> Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, напри-

---

<sup>1</sup> Шарады (*фр.*).

<sup>2</sup> А роль змеи, как видно, предназначается этому господину? (*фр.*)

мер: «Est-il permis d'être ainsi jolie!»<sup>3</sup> Потом завязался между ними шуточный разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хороших, там можно будет играть в шарды. Спроси у т-те Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Je me ravise»<sup>4</sup>, – ответил поэт, – я в ад не хочу, хотя там и будут хорошие женщины...»

Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами.

Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:

Я помню чудное мгновение,

и проч.

Вот те места, в 8-й главе Онегина<sup>6</sup>, которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:

...Но вот толпа заколебалась,  
По зале шепот пробежал,  
К хозяйке дама приближалась...  
За нею важный генерал.  
Она была не тороплива,  
Не холодна, не говорлива,  
Без взора наглого для всех,  
Без притязанья на успех,  
Без этих маленьких ужимок,  
Без подражательных затей;  
Все тихо, просто было в ней.  
Она, казалось, верный снимок  
Du somme il faut... прости,  
Не знаю, как перевести!  
К ней дамы подвигались ближе,  
Старушки улыбались ей,  
Мужчины кланялись ниже,  
Ловили взор ее очей,  
Девушки проходили тише  
Пред ней по зале: и всех выше  
И нос и плечи подымал  
Вошедший с нею генерал  
...  
Но обратимся к нашей даме.  
Беспечной прелестью мила,  
Она сидела у стола  
...  
Сомненья нет, увы! Евгений  
В Татьяну, как дитя, влюблен.  
В тоске любовных помышлений

---

<sup>3</sup> Можно ли быть такой хорошенькой! (фр.)

<sup>4</sup> Я раздумал (фр.)

И день и ночь проводит он.  
Ума не внемля строгим пеням,  
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,  
Он подъезжает каждый день,  
За ней он гонится, как тень;  
Он счастлив, если ей накинёт  
Боа пушистый на плечо,  
Или коснется горячо  
Ее руки, или раздвинет  
Пред нею пестрый полк ливрей,  
Или платок поднимет ей!

Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию, к моим родителям. В течение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина»<sup>7</sup>, которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастье принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте...<sup>8</sup>

Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею, Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в *Тригорском*, Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина *Михайловского*.

Она часто бывала в доме Пушкина<sup>9</sup>, говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так, в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Olenine; il dit partout: elle était trop brillante»<sup>5</sup>. В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais»<sup>6</sup>. Когда же он узнал, что я выдаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:

Наперсник Феба иль Приапа,  
Твоя соломенная шляпа  
Завидней, чем иной венец,  
Твоя деревня Рим, ты папа,  
Благослови ж меня, певец!

Далее в том же письме он говорит: «Ты написал «Кохлячку, Баратынский Чухонку, я Цыганку, что скажет Аполлон?» и проч. и проч.»<sup>10</sup>, дальше не помню, неверно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:

---

<sup>5</sup> Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна (*фр.*).

<sup>6</sup> Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим (*фр.*).

Прощайте, будьте в дураках!

Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным<sup>11</sup>, когда я через месяц после этого встретила с ним в Тригорском.

Вот они:

Ты обещал о романтизме,  
О сем Парнасском афеизме  
Потолковать еще со мной;  
Полтавских муз поведать тайны,—  
А пишешь лишь об ней одной.  
Нет, это ясно, милый мой,  
Нет, не влюблен Пирон Украины.  
Ты прав, что может быть важней  
На свете женщины прекрасной?  
Улыбка, взор ее очей  
Дороже злата и честей,  
Дороже славы разногласной;  
Поговорим опять об ней.  
Хвалю, мой друг, ее охоту,  
Поотдохнув, рожать детей,  
Подобных матери своей,  
И счастлив, кто разделит с ней  
Сию приятную заботу,  
Не наведет она зевоту.  
Дай бог, чтоб только Гименей  
Меж тем продлил свою дремоту!  
Но не согласен я с тобой,  
Не одобряю я развода,  
Во-первых, веры долг святой,  
Закон и самая природа...  
А во-вторых, замечу я,  
Благопристойные мужья  
Для умных жен необходимы:  
При них домашние друзья  
Иль чуть заметны, иль незримы.  
Поверьте, милые мои,  
Одно другому помогает,  
И солнце брака затмевает  
Звезду стыдливую любви.

*А. Пушкин Михайловское.*

Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г.<sup>12</sup> в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова<sup>13</sup>, повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion»<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> «Простите за откровенность» и «Я весьма дорожу вашим мнением» (*фр.*).

Как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien-loop<sup>8</sup>. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Ai-je été assez vulgaire aujourd'hui!»<sup>9</sup> Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Так, один раз мы восхищались его тихую радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant! Charmant!»<sup>10</sup> Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров<sup>14</sup>. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в Подснежнике. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этою целью явился он в Тригорское с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган»<sup>15</sup>. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаявала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:

И голос шуму вод подобный.

Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское<sup>16</sup>. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою<sup>17</sup>, а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage»<sup>11</sup>, хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече А. Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад, «Приют задумчивых дриад»<sup>18</sup>, с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin

<sup>8</sup> Волкодавами (фр.).

<sup>9</sup> До чего же я был неучтив сегодня! (фр.)

<sup>10</sup> Чудесно! Чудесно! (фр.)

<sup>11</sup> Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо (фр.).

à Madame»<sup>12</sup>. Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?»<sup>13</sup>

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр 2-й главы Онегина<sup>19</sup>, в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье

и проч. и проч.

Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих Северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя<sup>20</sup>.

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала  
Светлоюжною красой,  
Тихо Brenta протекала,  
Серебримая луной, и проч.<sup>21</sup>

Мы пели этот романс Козлова, на голос «Benedetto, sia la madre»<sup>14</sup>, баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и Писал в это время Плетневу: «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит! дай бог ему ее слышать!»<sup>22</sup>

Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим; в одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет<sup>23</sup> так:

*«Хотите знать, что такое г-жа К...? – она изящна; она все понимает; легко огорчается и так же легко утешается; у нее робкие манеры и смелые поступки, – но при этом она чудо как привлекательна»<sup>15</sup>.*

Его письмо к сестре очень забавно и остро, выписываю здесь то, что относилось ко мне:

*«Все Тригорское распевает: не мила ей прелесть ночи, и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я четыре часа сряду говорил с Алексисом; никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право,*

---

<sup>12</sup> Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад (фр.)

<sup>13</sup> Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли? (фр.)

<sup>14</sup> «Пусть благословенна будет мать» (ит.).

<sup>15</sup> Здесь и далее курсивом выделен текст, в оригинале написанный по-французски

*и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: «Здесь была она... камень, о которой она споткнулась<sup>1)</sup>, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа<sup>2)</sup>. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблен, – я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, – а между тем мне просто было досадно<sup>3)</sup>. Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв на минуту ее воображение, я только дал пищу ее веселому любопытству, – мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянности среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты, – что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением, – о, эта мысль невыносима для меня... Скажите ей, что я умру от этого... нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мною. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, – то я презираю ее – слышите ли – презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство.*  
21 июля».

<sup>1)</sup> Никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни деревьев. (Примеч. А. П. Керн.)

<sup>2)</sup> Веточку гелиотропа он точно выпросил у меня. (Примеч. А. П. Керн.)

<sup>3)</sup> Ему досадно было, что брат поехал провожать сестру свою в меня и сел вместе с вами в карету (Примеч. А. П. Керн.)

Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо<sup>24)</sup>:

*«Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы, по ветрености или кокетству, позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему; но у меня нет силы устоять против искушения – иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь, в глуши моей печальной деревни, мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости, – вы должны бы сами желать мне этого; но ветреность всегда жестока; и вся ваша братья, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам. – Прощайте, божество; я мучусь от бешенства и целую ваши ножки... Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Вульф.*  
25 июля.

*Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтете это письмо украдкой... Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? станете ли отвечать мне подробно? Ради бога, пишите мне все, что придет вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, – перемените почерк, подпишите какое хотите имя, сердце мое и так узнает вас. – Если слова ваши будут так же сладки, как и ваши взгляды, тогда, увы! я постараюсь поверить им, или же обмануть себя – это одно и то же. Знаете что, я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона... что скажет... Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»*

Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала мне его, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.

В другом письме его было:

*«Пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали».*

Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все были очень милы, но ограничусь еще одним:

*«Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног».*

Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь:

*«Я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне, – и благодарю вас за это от всей души. Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть. В Гюльнаре и Лейле я буду видеть вас... Итак, вы, опять вы посылаетесь мне судьбою и проливаете очарование на мое уединение, – вы, ангел утешения... Но я неблагодарный – потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург – теперь мое изгнание тяжеле для меня, чем когда-либо. – Может быть, недавно случившаяся перемена сблизит меня с вами – но я не смею надеяться на это. – Надежде нельзя верить; она – хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем... Кстати, моя милая фея, что делает ваши? Знаете ли, что в его образе я представлял себе всех врагов Байрона, в том числе и жену его?»*

8 декабря.

*Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, а подчас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные ручки, и снова целую их, в ожидании больших благ, – что положение мое невыносимо, что вы божественны и пр. и пр. и пр.»*

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев<sup>25</sup>. Он был тогда весел, но чего-то ему не доставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков<sup>26</sup>, а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей.

Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута<sup>27</sup>, его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста<sup>28</sup>, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины<sup>29</sup> свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов<sup>30</sup>, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе<sup>31</sup>, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину.

Вот они:

Как можно не сойти с ума,  
Внимая вам, на вас любуюсь;  
Венера древняя мила,  
Чудесным поясом красуюсь,  
Алкмена, Геркулеса мать,  
С ней в ряд, конечно, может стать,  
Но, чтоб молили и любили  
Их так усердно, как и вас,  
Вас спрятать нужно им от нас,  
У них вы лавку перебили!

*А. Пушкин*

Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он тоже очень умен». Il a aussi beaucoup d'esprit! На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графиней Ивелич<sup>32</sup>, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Триторском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове<sup>33</sup>, и он сказал: «Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже был влюблен в вас, не правда ли?»

На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова<sup>34</sup> его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт... Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выпisać стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.

На смерть венеитинова

Д е в а

Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.  
Розе подобный красой, как филомела ты пел.  
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,  
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!

Р о з а

Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.  
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.  
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!  
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой<sup>35</sup>.

Зимой 1828 года Пушкин писал Полтаву<sup>36</sup> и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так, он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой!

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему, или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, напр., в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!..<sup>37</sup>

Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: бывывало? Кто-то заметил, что можно даже сказать бывы-вывало. «Очень можно, проговорил Крылов, да только этого и трезвому не выговорить!»

Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом – совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине, и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.

В альбоме было написано:

Oh, si dans L'immortelle vie  
Il existait un etre parfait.  
Oh, mon aimable et douce amie,  
Comme toi sans doute il est fait etc., etc.

Пушкин перевел:

Если в жизни поднебесной  
Существует дух прелестный,  
То тебе подобен он,  
Я скажу тебе резон:  
Невозможно!

Под какими-то весьма плохими стихами было написано: «*Ecrit dans mon exil*»<sup>16</sup>. Пушкин приписал:

Amour, exil<sup>17</sup> —  
Какая гиль!

Дмитрий Николаевич Барков<sup>38</sup> написал одни, всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:

Не смею вам стихи Баркова  
Благопристойно перевесть  
И даже имени такова  
Не смею громко произнест!

Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.

В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре<sup>39</sup> моей в Малороссию, приписал в нем:

Когда помилует нас бог,  
Когда не буду я повешен,  
То буду я у ваших ног,  
В тени украинских черешен.

В этот самый день я восхищалась чтением его Цыган в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр Цыган в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день, с надписью на обертке всеми буквами: Ее Превосходительству А.

П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут, № 10<sup>40</sup>.

Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам. Живые сны  
За мной вились толпой игривой,  
И месяц с правой стороны  
Осеребрял мой бег ретивый.

Я ехал прочь. Иные сны...  
Душе влюбленной грустно было,  
И месяц с левой стороны  
Сопровождал меня уныло!

Мечтанью вечному в тиши  
Так предаемся мы, поэты,

---

<sup>16</sup> Написано в моем изгнании (*фр.*).

<sup>17</sup> Любовь, изгнание (*фр.*).

Так суеверные приметы  
Согласны с чувствами души<sup>41</sup>.

Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он, при стихе:

И месяц с левой стороны  
Сопровождал меня уныло! —

заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что ехал назад!»

Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.

В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный...» и «Пред ней, задумавшись, стою...»<sup>42</sup>. Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». — «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал: Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих вздыханий.

Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков<sup>43</sup>, я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».

Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:

Как в ненастные дни, собирались они  
Часто.  
Гнули, бог их прости, от пятидесяти  
На сто.  
И отписывали, и приписывали  
Мелом.  
Так в ненастные дни, занимались они  
Делом<sup>44</sup>.

Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 руб., сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл».

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг<sup>45</sup>, и была свидетельницей свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский<sup>46</sup>.

Илличевский написал мне следующее послание:

Близ тебя в восторге нем,

Пью отраду и веселье,  
Без тебя я жадно ем  
Фабрики твоей изделье<sup>1)</sup>.  
Ты так сладостно мила,  
Люди скажут: небылица,  
Чтоб тебя подчас могла  
Мне напоминать горчица.—  
Без горчицы всякий стол  
Мне теперь сухоеденье;  
Честолюбцу льстит престол —  
Мне ж – горчицницей владенье.  
Но угодно так судьбе,  
Ни вдова ты, ни девица,  
И моя любовь к тебе  
После ужина горчица.

Он называл меня:

Сердец царица,  
Горчичная мастерица!

(<sup>1)</sup> Отец мой имел горчичную фабрику.)

Кроме этих, приходили на вечера: Подолинский, Щастный<sup>47</sup>, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын<sup>48</sup> и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу.

Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: «*Нехорошо нападать на такого беззащитного человека*», – обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен.

На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич<sup>49</sup>. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что

Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого.

Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам Фариса, переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин<sup>50</sup>. Особенно нравились ему следующие:

Портрет  
Когда, стройна и светлоока,  
Передо мной стоит она,  
Я мыслю: Гурия Пророка  
С небес на землю сведена.  
Коса и кудри темно-русы,  
Наряд небрежный и простой,  
И на груди роскошной бусы  
Роскошно зыблются порой.  
Весны и лета сочетанье  
В живом огне ее очей  
Рождают негу и желанье  
В груди тоскующей моей.

И окончание стихов под заглавием: «К ней»:

Так ночью летнею младенца,  
Земли роскошной поселенца,  
Звезда манит издалека,  
Но он к ней тянется напрасно...  
Звезды златой, звезды прекрасной,  
Не достигнет его рука.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена<sup>51</sup>:

Неумолимая, ты не хотела жить...—

передразнивая его и голос и выговор.

Зима прошла. Пушкин уехал в Москву<sup>52</sup> и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась. Когда я имела несчастье лишиться матери<sup>53</sup> и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственной ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме<sup>54</sup>, которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу<sup>55</sup>, забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» — отвечала: «Воля!» — и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.

## Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке

*То зеркало лишь хорошо, которое верно отражает.*

При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтической деятельностью Пушкина и отметилась в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастья и по возможности избегавший тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенною ясностью: Пушкин, Дельвиг и Глинка.

Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а подчас и покутить. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестяло неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они и собирались<sup>1</sup>.

Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ.

Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро: «Ах, как они глупы, эти умные люди», и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностию духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Не позволяя себе дальнейшей параллели между характерами двух друзей, перехожу к моим воспоминаниям о Дельвиге, в которых коснулся также нескольких случаев из жизни Пушкина и Глинки, нашего гениального композитора.

Мы никогда не видали Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем, и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним запанибрата, и, что бы ни сделали они, вместо выражений гнева Дельвиг говорил только «забавно». Но очень может быть, что причина его снисходительности к служащим ему людям была разумнее и глубже и заключалась в терпимости, даже в великодушии.

Дельвиг любил доставлять другим удовольствия и мастер был устраивать их и изобретать. Не помню, чтобы он один или с женою ездил когда-нибудь на балы или танцевальные вечера; но зато любил загородные поездки, катанья экспромтом или же ужин дома с хорошим вином, которым любил потчевать дам, посмеиваясь, что действие вина всегда весело и благодетельно. Между многими катаньями за город мне памятна одна зимняя поездка в Красный Кабачок<sup>2</sup>, куда Дельвиг возил нас на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луною, возвратились домой. В катанье участвовали, кроме Дельвига, жены его<sup>3</sup>

и меня, Сомов<sup>4</sup>, всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изданию «Северные цветы», и двоюродный брат мой А.Н. Вульф.

Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишие, которое начинается так:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать...

Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтере Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастья, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в Одессе романс Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и солнце и любовь...», в котором так много ясности и счастья, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передало ему всю светлость чистого чувства любви поэта. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзией Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. Баратынский присылал Дельвигу свои сочинения до отсылки в печать, и последний отдавал их переписывать жене. Баратынский никогда не ставил знаков препинания, кроме запятой; Дельвиг знал эту особенность своего друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорил: «Пиши, Сонинька, до точки». Дельвиг рассказывал однажды, будто Баратынский спрашивал у него: «Что называешь ты родительным падежом?»

Дельвиг жил на Владимирской улице, в доме Кувшинникова, ныне Олферовского. По утрам он обыкновенно занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простую из зеленой тафты перегородкой. В этом кабинетике случилось однажды несчастье с песнями Беранже: их разорвал маленький щенок тернёв, и Дельвиг воспел это несчастье в юмористических стихах, из которых, к сожалению, я помню только следующие:

Хвостова кипа тут лежала,  
А Беранже не уцелел!  
За то его собака съела,  
Что в песнях он собаку съел.

Эта песня была включена в репертуар, который распевали мы у него по вечерам целым хором. Два раза в неделю собирались к нему лицеисты – товарищи и друзья. Как веселы бывали эти беседы!..

Одно время я занимала маленькую квартиру в том же доме. Софья Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрам в мой кабинет заниматься корректурую «Северных цветов»; потом мы вместе читали, работали и учились итальянскому языку у г. Лангера, тоже лицеиста. Остальную часть дня я проводила в семействе Дельвига. У них собирались не с одною только целью беседовать, но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать мнение Дельвига, пользовавшегося репутацией проницательного и беспристрастного ценителя. Во всем кружке была родственная простота и симпатия; дружба, шутка и забавные эпитеты, которые придавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикой этой детски веселой семьи.

Однажды Дельвиг и его жена отправились, взяв с собою и меня, к одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дельвиг сказал: «Это моя жена», и потом, указывая на меня: «А это вторая». Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторил ее, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Баратынского «Бал»: «Жене № 2-й от мужа безномерного». Кроме этого подарка на память, он написал в мой альбом свои стихи: «Дева и Роза» и «На смерть Веневитинова»<sup>5</sup>. В семье Дельвига я чувствовала себя как дома, а когда они уехали в Харьков, баронесса пересылала мне экспромты Дельвига. Из числа их я помню следующий:

Я в Курске, милые друзья,  
И в Полторацкого таверне  
Живее вспоминаю я  
О деве Лизе, даме Керне!

Преданный друзьям, Дельвиг в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев<sup>6</sup>, семи- и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а меньшего, Ивана, романтиком и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшей уже сочинил стихи, он— пожелал их услышать, и малютка-поэт, не конфузясь нимало, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индиянди, Индиянди, Индия!  
Индиянда! Индиянда! Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: «Он точно романтик».

Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине, завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшем часто предметом разговоров и даже переписки его дружных членов; так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город<sup>7</sup>: и «Лев уехал вчера... Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре».

Действительно, в этот период, перед женитьбою своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встреча его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. Но мои воспоминания в доме Дельвига относятся более ко времени первой беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он, узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор; помню его развевающийся плащ и сияющее радостию лицо... Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его<sup>8</sup>. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: «Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь!» Я с любовью приняла это

трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видал меня одну: *«А ведь мы с вами в первый раз вдвоем, сударыня»*; мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. *«Вы правы, 27 градусов»*, – повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры.

Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так, однажды отец госпожи Н.<sup>9</sup>, рассказывая Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув салоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи, сказал: *«И эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку!»*

Пушкин сидел на диване, поджав ноги; услышав этот рассказ, он вскочил и, схватив обе руки у госпожи П., с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что чувство было дико и смешно<sup>10</sup>. Острое красное словцо – *la repartie vive* – вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: *«Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная!»* И он повторял: *«Как это верно сказано: действительно, такая безобидная!»* Продолжая далее, он заметил: *«Да, с вами не весело и ссориться, то ли дело ваша кухня, вот тут есть с кем ссориться!»*

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: *«Дайте ручку, c'est si satin!»*, я отвечала: *«Satan!»* Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит А.Н. Вульф и хлопает в ладоши... Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку... Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила<sup>11</sup>, он сказал: *«И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности»*. Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданною способностью женатым вести себя как

прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «*Я просто хитер*». После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он

«Настоящий атлас!» – «Сатана!» (Игра слов: *satin* – атлас, *sa-tan* – сатана (*фр.*)

от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислую капустою: «*Это шотландское блюдо*», заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки... Подошел к нему Илличевский и сказал:

У печки погружен в молчаньи,  
Поднявши фрак, он спину грел,  
И никого во всей компании  
Благословить он не хотел<sup>12</sup>.

Это развеселило Пушкина, и он сделался олень любезен. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери<sup>13</sup>. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; Пушкины сидели рядом на маленьком диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью; а Александр Сергеевич, не спуская глаз с матери, держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери; он при этом ничего не говорил.

Кроме Пушкина, еще один из друзей Дельвига, еще одна симпатичная личность влечет к себе мои воспоминания. Это наш поэт-музыкант Глинка; я познакомилась с ним в 1826 году.

В это время еще немногие жилали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина<sup>14</sup>, я встретила генерала Базена<sup>15</sup>, моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне Глинку, говоря: «*Прекрасного чаю обещать не стану, ибо не знаю в нем толку, но зато обещаю чудесное общество: вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов*». Тогда молодой человек, шедший в стороне, сделал шаг вперед, грациозно поклонился и пошел подле Пушкина, с которым был уже знаком и прежде<sup>16</sup>. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что-нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности, а потому Базен просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую-нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решались, и сам Базен запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом:

Наварила, напекла  
Не для Грицки, для Петра;  
Ой лих, мой Петрусь,  
Бело лично, черноусь!

Глинка опять поклонился своим выразительным, почтительным манером и сел за рояль. Можно себе представить, но мудрено описать мое удивление и восторг, когда раздались чудные звуки блистательной импровизации; я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда<sup>17</sup> и многих других замечательных музы-

кантов; такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала!

У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить все, что хотел; невозможно было не понять того, что пели клавиши под его миниатюрными пальцами.

В описываемый вечер он сыграл, во-первых, мотив, спетый Базеном, потом импровизировал блестящим, увлекательным образом чудесные вариации на тему мотива, и все это выполнил изумительно хорошо. В звуках импровизации слышалась и народная мелодия, и свойственная только Глинке нежность, и игривая веселость, и задумчивое чувство. Мы слушали его, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытьи.

Впоследствии Глинка бывал у меня часто; его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала.

Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою: «Я помню чудное мгновение...», чтоб положить их на музыку, да и затерял их, бог ему прости! Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом.

Из числа моих знакомых Глинка посещал П(ушки)ных, бывал у Базена, своего доброго начальника, и у барона Дельвига, большого любителя музыки и почитателя Глинки. Там он часто услаждал весь наш кружок своими дивными вдохновениями. К нему присоединялись иногда князь Сергей Голицын, М. Л. Яковлев, а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон, бравурный модный романс или баркаролу. Для тех, которые не знали коротко Глинки, скажу, что он был один из приятнейших и вместе добродушнейших людей своего времени, и хотя никогда не прибегал к злоречию насчет ближнего, но в разговоре у него было много веселого и забавного. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, поэтому он всегда был желанным и приятным гостем, даже без музыки. В этом отношении он мог подать руку своему почтенному покровителю и начальнику Базену, отличавшемуся в своем тесном, дружеском кружке самою доброжелательной любезностью.

Сообществом их обоих и умной задушевной беседой дорожили все их друзья и знакомые. Глинка был чрезвычайно нервный, чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно, так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Являясь ко мне, он просил иногда позволения надеть мою кацавейку и расхаживал в ней, как в мантии, или, бывало, усаживался в угол на диване, поджавши ножки. Летом, кажется, в 1830 году, когда я жила вместе с Дельвигом на даче у Крестовского перевоза<sup>18</sup>, Глинка бывал у нас очень часто и своею веселостью вызывал на разные *parties de plaisir*<sup>18</sup>. Под таким влиянием однажды Дельвигу, любившему доставлять себе и другим удовольствия, часто весьма замысловатые, вздумалось совершить прогулку целым обществом на Иматру<sup>19</sup>. Не долго размышляя, а по-русски: вздумано, сделано! – мы проворно собрались в дорогу, отыскивали напрокат допотопную линейку с черным кожаным фартуком и таким же верхом на столбиках; в одно прекрасное июньское утро уселись в нее, по возможности комфортабельно, и поехали.

Общество наше состояло из барона Дельвига, жены его, постоянного нашего посетителя Ореста Михайловича Сомова и меня. При баронессе была ее горничная. Подорожная для предотвращения задержки в лошадях была взята на мое имя, как генеральши, а барон и прочие играли роль будущих<sup>20</sup>. Глинка, без которого нам не хотелось наслаждаться удоволь-

---

<sup>18</sup> Увеселительные прогулки (*фр.*).

ствиями этого путешествия, но которого задерживали на время дела, не мог выехать вместе с нами и должен был нас догнать на половине дороги. Мудрено было придумать для приятного путешествия условия лучше тех, в каких мы его совершили: прекрасная погода, согласное, симпатичное общество и экипаж, как будто нарочно приспособленный к необыкновенно быстрой езде по каменистой гладкой дороге, живописно извивающейся по горам, над пропастями, озерами и лесами вплоть до Иматры, делали всех нас чрезвычайно веселыми и до крайности довольными. Конечно, дребезжание экипажа и слишком шибкая езда (по 20 верст в час) не позволяли нам разговаривать, но это и не предстояло большой необходимости. Очаровательные пейзажи, один за другим сменяющиеся то с одной, то с другой стороны линейки, возбуждали в нас такое восхищение, которое только и может быть выражено коротенькими восторженными восклицаниями, – и мы беспрестанно высказывали свои впечатления возгласами: «Ах, посмотрите, какая прелесть!», «А это-то, по моей стороне – чудо! какая роща! какая удивительная трава!» – и проч.

Одна картина сменяла другую, и каждая в своем роде отличалась красотой. Тут являлась между скалистыми уступами мрачная пропасть, там овраг, увенчанный и усыпанный цветами и ягодами, а впереди нас, и сбоку, и над головами выдвигались и висели целые утесы. Так, по дороге гладкой, как стол, мчались мы, окрыленные радостными мыслями, упоенные красотами горной природы! Глинка сдержал свое слово и догнал нас на половине пути; он приехал с своим товарищем, с которым жил на одной квартире<sup>21</sup>, молодым человеком, очень сентиментальным.

Так как мы все не могли поместиться в линейке, то двое из нас, исключая, однако же, меня и Дельвига, самых ленивых из всей компании, по очереди ехали в чухонской тележке на двух колесах. Кроме поэтического настроения путешественников и высокого наслаждения изумительными красотами природы, наше путешествие имело много юмористического от разных дорожных приключений, встреч и смешных анекдотов, случавшихся на пути. К тому же влияние горного воздуха делало нас остроумнее, любезнее, и мы пользовались всем, чтоб посмеяться и пошутить. Барона Дельвига я никогда не видала таким милым и счастливым, а Глинка совсем забыл, что ему бывает грустно.

Лишь только мы выехали из Петербурга, как и начали смеяться; ямщик, везший нас до первой станции, на каждом повороте обращался к нам с вопросом – куда ехать? И когда мы спросили у него, как же он нанялся везти и не знает, куда ехать, он отвечал: «Так точно, я с тем и взялся, что не знаю куда». На границе уезда таможенный пристав осматривал наш багаж (которого, разумеется, не было: мы ехали на одни сутки), и я спросила у него, как зовут его начальника, офицера. Он сказал какое-то имя и отчество, я заметила ему, что не имя, а фамилию офицера я спрашиваю. «А, фамилию? Фамилия его Настасья Ивановна!»<sup>22</sup>. Я, разумеется, донесла об этом важном известии моим спутникам, и нам опять было весело всю следующую станцию; жаль, что я теперь не помню названия всех станций, – а были преинтересные! Особенно смешили нас надписи на почтовых дворах, часто весьма замысловатые. Орест Михайлович Сомов описал это путешествие в «Литературной газете», издаваемой бароном Дельвигом, кажется, в 1830 или 31-м году. Хорошенько не помню. Помню, однако ж, что он, т. е. Сомов, назвал нас, меня и баронессу Дельвиг, «изящными произведениями природы».

Если хотите, можете справиться в «Литературной газете» того времени.

Таким образом мы приехали в Выборг, город, знаменитый своими кренделями, живописным замком и гостиницею синьора Мотти, у которого мы и остановились. При виде важной осанки спутников ее – то есть моего – превосходительства и такой большой свиты синьор Мотти принял нас с почестями, достойными каких-нибудь владетельных принцесс. Его итальянская напыщенная вежливость, подобострастные манеры и услужливость, несмотря на доuku, смешили нас до слез, а некоторых почти до истерики. Он состряпал нам

ужин на славу: все было отлично приготовлено, в заключение же он явился сам с поклоном и с ужимками, ставя на стол два огромные канделябра. Вместе с ним вошла милостивая девушка с корзинкой свежих кренделей и на вопрос: точно ли они выборгские, – просто-душно уверяла, что действительно выборгские. Мы долго шутили с Могги, с нею, наконец разошлись спать.

Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его и вздрагивая по временам от успокоительных возгласов городского сторожа, вскрикивавшего иногда под самым окном: «Спите, добрые граждане, я вас не бужу!» На заре появился на берегу залива, почти против окна, у которого я сидела, охотник с ружьем, он отвязал челнок и поплыл куда-то за дичью. Этим началась дневная деятельность в городе; вскоре и наша компания собралась в дорогу и, напившись горячего, отправилась к цели нашей поэтической прогулки.

Пополудни, часу в 4-м или в 5-м, мы услышали гул и шум Иматыры и, несмотря что были голодны, испечены солнцем и запылены донельзя, забыли все путевые неудобства; а по предложению барона Дельвига, не доезжая до станции, вышли из экипажа и направились пешком в ту сторону, откуда несся шум водопада, чтоб при ясном дне взглянуть на это чудо природы – на великолепную Иматру. Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу, и мы с трудом пробирались по ней, беспрестанно цепляясь за сучья. По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул все усиливались и наконец дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали подвигаться вперед молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума... и вдруг очутились на краю острых скал, окаймляющих Иматру! Пред нами открылся вид ни с чем не сравненный; описать этого поэтически, как бы должно, я не могу, но попробую рассказать просто, как он мне тогда представился, без украшений, тем более что этого ни украсить, ни улучшить невозможно. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро, то тихо текущую, и вдруг эта река суживается на третью часть своей ширины серыми, седыми утесами, торчащими с боков ее, и, стесненная ими, низвергается по скалистому крутому скату на пространстве 70 сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьется о них, бешено клубится, кидается в стороны и, пенясь и дробясь о боковые утесы, обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, ее берега. Но, с окончанием склона, оканчиваются ее неистовства: она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом, течет тихо, лениво, как бы усталая; на ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби.

При своем грандиозном падении она обтачивает мелкие камешки в разные фантастические фигуры, похожие на зверей, птиц, часы, табакерки и проч. Мы то опускались, то подымались, то прыгали на утесы, орошаемые освежительною пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света. На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского<sup>23</sup>. Увлечшись подражанием, и мы написали там свои фамилии. Противоположный берег казался нам еще живописнее: там виднелась тропинка, усыпанная песком; тот же, где мы были, был совершенно дик, а потому, не пускаясь вдаль, как предполагали прежде, мы пошли к экипажу, чтоб, поевши чего-нибудь или напившись чаю на станции, переехать на ту сторону реки и уже при луне полюбоваться Иматою с другого ее берега. Мы так устали от езды и восхищения, что нам необходимо было подкрепиться пищею. На весьма ветхой станции чухонской постройки спросили мы самовар и велели достать чего-нибудь на ужин, приготовить его брались уже мы сами. Но – вообразите себе! – ничего не отыскалось нам на пропитание: ни курицы, ни даже одного яйца! По двору прохаживался весьма старый петух, но его мы не попытались добыть на жаркое; жаль было этой единой живой птицы. На все же наши

вопросы касательно других съестных припасов нам говорили нет: яиц – нет, курицы – нет, молока – нет, сливок и подавно нет. Оказалась только плоховина (это, извольте видеть, рыба лоховина) и нечто вроде кваса, свадрик.

Для любителей кваса свадрик может быть очень приятным, даже очень здоровым питьем, потому что в состав его входят можжевельные ягоды. Итак, не добившись ничего, то есть ровно ничего, для утоления голода, мы решились переехать на ту сторону Боксы, где прямо у пристани красовался довольно большой дом, называемый гостиницею.

Нам сказали, что там найдем мы и готовый обед, и молоко, и все, что угодно. С этою заманчивою перспективою мы поплыли на ту сторону реки в огромной почтовой лодке, управляемой двумя стариками гребцами – двумя харонами. Лодка наша, направляемая их старческими руками, плыла вверх по течению; это было необходимо для того, чтобы ее не отнесло в водопад. Плавание шло медленно, и чем дальше подвигались мы вверх, тем движение становилось тише, потому что быстрота реки усиливалась от близлежащих порогов; наконец, у самих порогов, лодку нашу течением стало нести к тому берегу, где виднелась гостиница; другую половину переправы мы совершили очень скоро и почти без помощи стариков, которые, направив лодку как следует, положили весла и только у пристани взяли за них, чтобы причалить. Приставши к берегу, мы заметили влево от гостиницы прехорошенький домик, и, прежде чем отправиться в знаменитую гостиницу, в которой, несомненно, надеялись найти обед, забыв голод и усталость, мы пошли к домику, чтобы им полюбоваться. И что это был за милый домик! Маленький, уютный, чистенький, осененный свежелою зеленью сада, он приветливо выглядывал из окружающих его утесов, покрытых мхами, и манил к себе на ближайшую скалу послушать мелодический шум каскадов, во множестве и в разнообразных видах прыгающих вокруг него. Наглядевшись на домик, мы пошли наконец в гостиницу. «Соловья баснями не кормят», и, после всех восхищений, мы сильно чувствовали пустоту желудка, с самого утра ничем не подкрепленного. В гостинице нашлось несколько комнат с скамейками кругом; в одной из них стоял накрытый стол, а на нем – что бы вы думали?...селетки, селетки и селетки, приготовленные с молоком, и неизбежная соленая плоховина, плавающая опять-таки в молочном соусе! Прибавьте к этому, что эти кушанья до того были отвратительны на вид, что не только решиться утолить ими голод, но и прикоснуться к ним нам и на ум не приходило. Отыскав после многих поисков живое существо, мы спросили, нет ли молока, – нам отвечали, что есть всякое, даже кислое, мы очень обрадовались, предполагая встретить любимую всеми простоквашу, с которою баронесса Дельвиг сравнивала петербургское небо. Но, увы! мы и в этом жестоко обманулись: то была не простокваша, не кислое молоко, а проквашенная, испорченная, заплесневшая зеленоватая гуща с нестерпимым запахом. Хоть бы хлеба достать! но вообразите: эти несчастные и о нем не имеют понятия; я у них не видела хлеба, он заменяется здесь, кажется, соленою и сушеною лоховиною, которую они едят походя: и в пищу и в лакомство. От этого, я думаю, и зубы у них испорчены, а около углов рта у всех белые пятна. Хотя между чухонцами и встречаются иногда красивые лица, особенно у женщин, но эти болезненные рты очень их портят.

Пока мы искали себе пищи, настал вечер, взошла луна, и мы, залив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к Иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие, бушующие волны! Эффект был неописанный! Иматра, осеребренная ее лучами, казалась чем-то фантастическим; невозможно было оторвать от нее глаз! Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над kloкочущей пучиной: заманчивость и обаяние такой бездны были невыразимы. В некоторых из нас не шутя на миг мелькало желание броситься в нее. Мы поняли предание о русалках и убедились, что та, которая живет в Иматре, – очаровательна! Сильнее других бездна манила к себе Ореста Михайловича Сомова; отдалясь от нас, он распростерся на одном

из выдавшихся утесов и так долго на нем забылся, упиваясь росой и обаянием чарующих волн, что мы насилу могли его дозваться.

Место близ Иматры, во время нашего посещения, было почти в диком состоянии, и если проявлялись кое-где некоторые удобства, то они были так маловажны, что можно было подумать, будто сама природа устроила их. Я слышала, что потом, с нашей легкой руки, вошло в моду ездить любоваться великолепным водопадом, что около него настроили гостиницы, кофейни, разные павильоны и тем отняли всю поэзию у чудной Иматры, так что никто, никто (мне отрадно это думать) не мог уже восхищаться ее дикими, нетронутыми красотами, как восхищалось наше общество. Правду сказать, что дружное это общество было недюжинное; в него входили: любящий, благородный, истинный поэт в душе Дельвиг и маленький, но чудный Глинка, заимствовавший, вероятно, множество оригинальных мотивов у гармонических, упоительных звуков водопада; наконец, и мы, остальные, чувствовали и понимали глубоко все красоты окрестной природы!

Возвратясь на станцию уже очень поздно, мы напились чаю и пошли спать, да так долго проспали, то есть мы, дамы, и Глинка тоже, что солнце было уже высоко, когда мы вышли на крыльцо и застали барона Дельвига, преважно заседающего за столом, накрытым белой скатертью, перед завтраком привлекательного вида. Он удосужился достать животрепещущую форель и некоторого рода сельдь, по его словам, очень вкусную; благодаря его распорядительности мы наконец могли поесть с удовольствием. Приглашая нас к завтраку, Дельвиг сказал четверостишие:

Увижу ль вас когда-нибудь,  
С моею нежной половиной,  
Увижу ль вас когда-нибудь,  
О милый свадрик с плоховиной!

Позавтракав, мы поехали назад к Выборгу, но остановились, однако ж, чтобы еще в третий раз полюбоваться Иматрой. Солнце сияло прямо в лоно реки, водопад искрился золотом и огнем и был ослепителен: больно было смотреть. Прощай, Иматра, я, вероятно, уж больше тебя не увижу! Я прощаюсь с тобой навсегда, а когда мы были у берегов твоих, то каждый из нас давал себе и другим слово непременно опять когда-нибудь к тебе приехать!

Мы отправились обратно к линейке, а Глинка поехал с Сомовым в тележке. На одной станции, покуда перепрягали лошадей, мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листком бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет, а его возница перед ним поет какую-то заунывную песню. Передав бумаге, что ему нужно было, он подвел чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыканья чухонца Глинка выработал тот самый мотив, который так ласково и грустно звучит в арии Финна, в опере «Руслан и Людмила». Надобно было слышать потом, как Глинка играл этот мотив с вариациями и что он сделал из этих нескольких полудиких и меланхолических тонов! Когда Глинка однажды спел арию Финна в присутствии Сергея Львовича Пушкина, то старик при стихе:

По бороде моей седой  
Слеза тяжелая скатилась,—

расплакался и бросился обнимать Глинку, и у всех присутствующих навернулись на глазах слезы... я не помню наслаждения выше того, какое испытала я в этот вечер!

Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвиг не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николаи. Несмотря на всю усталость нашу, мы

пошли туда пешком, в сопровождении дочери синьора Мотти, высокой черной итальянки, которая с охотой взялась нас туда проводить. Лишь только мы вступили в этот очаровательный сад, называемый, кажется, владельцем *Мой отдых*, усталость была забыта, и восхищение сопровождало каждый наш шаг. Пройдя мимо разных хозяйственных построек, мы очутились перед обширным прекрасным лугом с изумрудною шелковою травой и за ним на высоком холме увидели прелестный замок, обогащенный затейливыми и вместе грациозными украшениями архитектурного искусства. Он нам казался дорогой изящной игрушкой – самой тонкой работы; на лугу разбросаны

кусты с душистыми роскошными цветами; тут же на самой середине стоит одна, всего только одна береза; но какая?., просто прелесть! большущая, развесистая, способная тенью своей защитить целое общество от палящего солнца; ветви с каждой стороны падали как-то ровно и, расширяясь книзу, придавали ей вид зеленеющей пирамиды; вокруг нее ни лавочек, ни скамеек, никаких украшений, никаких затей. Она, как великолепная красавица, отошла от роскошного замка, остановилась, глядит издали, чтобы вдоволь налюбоваться им и выказать на просторе и свою красоту. Позади замка раскидывается роща. При входе в нее, в тени группы разнообразных деревьев, над источником нас ожидала замечательной красоты мраморная наяда.

Проводница рассказывала нам, что вода источника славится целебною силою, вкусом и свежестью; действительно, я такой вкусной воды отроду не пивала. Она холодна, чиста, как горный хрусталь, и много имеет в себе живительного. У источника роскошный куст роз; далее, у подошвы горы, на которой построен замок, виднеется темная бесконечная аллея; ее образуют с одной стороны огромные нависшие над нею утесы, с другой – высокие деревья, которых вершины, склоняясь к оконечностям утесов, составляют темный зеленый свод.

Утесы эти, покрытые, по большей части, разноцветными мхами и ползучими растениями, совершенно дики и местами изрыты пещерами, внутри которых каменные плиты доставляют возможность отдохновения. Эта аллея – рай в жаркий день. В конце ее открывается море – море без конца. По кремнистому его берегу извивается тропинка, усыпанная песком. По этой тропинке есть несколько прелестных мест, в которых природа так изящно соединилась с искусством, что трудно оторваться от них. Одно осталось у меня в памяти: это грот, или просто пещера, приютившаяся под скалою на самом берегу моря. В расщелинах же скалы, среди мхов и диких камней, растут пышные розы. Много вкуса и любви к делу было в человеке, умевшем так прекрасно украсить этот уголок, не изуродовав природы, как это часто делается. Он, так сказать, только приголубил, приласкал ее и тем помог ей выказать еще рельефнее все свои красоты.

Тут же в море, в двух шагах от берега, островок, среди которого надгробный памятник владельца. Туда нас не пустили. Должно быть, хорошо там отдыхать тому, кто жил здесь. На все наши восторги и возгласы синьора Мотти заметила, что здесь было бы еще лучше, еще веселее, если бы играла военная музыка. На возвратном пути из сада я едва уже тащилась, да и не мудрено: две версты туда и назад, а в саду, может быть, версты три выходила! Это хоть кому в пору в жаркий день, а мне и подавно: я никогда ходить не умела. Все наши давно пришли и совсем уже смерклось, когда я с своей итальянкой добралась до гостиницы. Подходя к ней, я увидела в нижнем этаже за прилавком синьора Мотти, наливающего что-то пенящееся из бутылки; мне очень захотелось пить, и я спросила у синьоры, что это такое? «Это папенька пьет свадрик своего изделия», – сказала мне спутница. «Пожалуйста, попросите у него для меня». И синьор Мотти, исполняя мое желание, подал мне полный стакан пенящейся живой влаги в окно. Признаюсь, я никогда ничего не пила с таким удовольствием и часто, вспоминая это питье, дивлюсь, как в Петербурге не вздумают его приготовить: это было бы гораздо здоровее, приятнее и дешевле всякого пива. Мы переночевали еще раз в Выборге и возвратились в Петербург 1-го июля, в день рождения покойной государыни императрицы

Александры Федоровны. Я помню это потому, что, усталые от всего испытанного, попеченные солнцем, запыленные, мы спешили домой освежиться и отдохнуть, но, вместо желанного покоя, попали в ряды тянувшихся на гулянье экипажей. Нас на Самсоньевском мосту поворотили назад и в запыленном, истерзанном виде заставили прокатиться по островам между блестящих городских колясок и карет и разряженных дам. При этом случае нас очень насмешил один полицейский чиновник, которого мы просили, ради бога, пропустить нас. На все наши просьбы он отвечал только: «Так как, по-видимому, вы уже очень много проехали, то вам теперь уж немного осталось!» Нечего делать! Поехали далее скрепя сердце: за такие наслаждения, какие мы испытали в эту прогулку, можно было вытерпеть все безропотно.

По возвращении в Петербург Глинка посещал нас по-прежнему и познакомил нас с певцом Ивановым. Вскоре потом Глинка повез его в Италию, где Иванов приобрел европейскую известность<sup>24</sup>. Бывая у Дельвига, Иванов певал его Соловья и своим мягким, симпатичным голосом придавал этому романсу ту прелесть и значение, которых жаждал поэт. В это предпоследнее, кажется, лето жизни Дельвига все приятное сгруппировалось вокруг него, чтобы усладить последние годы его земного существования. Все, что он любил, что тешило, счастливило его, как бы предчувствуя скорую с ним разлуку, стремилось к нему, и он, среди тишины семейной жизни, услаженный друзьями, поэзией и музыкою, мог назваться счастливейшим из смертных.

В это же время мечта его жизни осуществилась: у него родилась дочь<sup>25</sup>. Приветствуя его с этою радостью, князь Вяземский сказал: «Поздравляю тебя с новою юною Идиллией и желаю ей в свое время сделаться древнею». К довершению всех этих душевных наслаждений, на ту пору вблизи нашей дачи, на берегу Невы жил на своей даче Дмитрий Львович Нарышкин<sup>26</sup>, и его знаменитая, известная всей Европе роговая музыка была и для нас большим наслаждением. В праздничные дни она играла подле балкона, на котором сидел Дмитрий Львович, глядя на публику, гулявшую близ его дома по дорожкам между цветов. По будням же она разъезжала тихо в большой лодке по Неве и своими чарующими звуками, далеко разносившимися по реке, доставляла удовольствие тысячам людей. Беднейший из любителей музыки мог ежедневно слышать бесплатно восхитительный концерт. Так настоящий аристократ, русский бария, умел пользоваться своим богатством и делиться с другими изящными своими наслаждениями. Я имела привычку отдыхать после обеда и всегда пробуждалась под звуки этой дивной музыки.

Я сказала уже, что Михаил Иванович Глинка был такого милого, любезного характера, что, узнавши его коротко, не хотелось с ним расставаться, и мы пользовались всяким случаем, чтобы чаще его видеть.

Однажды он рассказывал нам, что у него прекрасная квартира, кажется, в Измайловском полку, и презанимательный сад с беседками, киосками, надписями и сюрпризами. Мы устроили так, что он пригласил весь наш кружок к себе на чай. Когда мы приехали к нему, он тотчас повел нас в сад и там угощал фруктами, чаем и своей музыкой. Много мы шутили и долго смеялись над одною из надписей на беседке его садика: «Не пошто далече и здесь хорошо». В конце этого счастливого лета мы еще сделали поездку в обществе Глинки в Ораниенбаум. Там жила в то лето нам всем близкая по сердцу, дорогая наша О.С. Павлицева, она была больна и лечилась морским воздухом и купаньями. Мы тоже там выкупались в море все, кроме Глинки и барона Дельвига. Первый начинал уже чувствовать разные припадки, которые заставляли его уезжать по зимам в Италию. Ради правды нельзя не признаться, что вообще жизнь Глинки была далеко не безукоризненна. Как природа страстная, он не умел себя обуздывать и сам губил свое здоровье, воображая, что летние путешествия могут поправить зло и вред зимних пирушек; он всегда жаловался, охал, но между тем всегда был первый готов покутить в разгульной беседе. В нашем кружке этого быть не могло, и потому

я его всегда видела с лучшей его стороны, любила его поэтическую натуру, не доискиваясь до его слабостей и недостатков. Богатые дарования этого маленького человека (Глинка был гораздо меньше обыкновенного среднего роста мужчины) чрезвычайно были привлекательны, и самый его ум и приятный характер внушали и дружбу и симпатию.

Барон Дельви́г тоже купаться в море не решился вследствие мнительности; он тогда все кушал какие-то пилюли отвратительного запаха и беспрестанно лечился от воображаемых болезней у разных эмпириков. Это-то, я думаю, и расстроило его здоровье и крепкую организацию и отняло у нее силы бороться с настоящею болезнью, когда она приключилась! Глинка, предполагая ехать в Италию, начал учиться итальянскому языку; так случилось, что и на нас с баронессою Дельви́г напала охота заняться тоже итальянским языком, и тут-то резко обозначился контраст между способностями обыкновенными и способностями высокого таланта, каков был Глинка. Пока мы в два месяца, занимаясь ежедневно у Лангера, товарища Дельви́га и Пушкина по Лицею, едва выучились читать и говорить несколько слов, Михаил Иванович уже говорил бегло, быстро, с удивительно милым итальянским произношением, без иностранного акцента. Хотя способность к языкам и составляет принадлежность русских, хотя и говорит где-то *Эжен Сю*: «*Она говорила по-французски как русская!*» — но все-таки быстрота, с какою Михаил Иванович усвоил знание итальянского языка, изумила нас. Он впоследствии владел хорошо и испанским языком.

Вскоре после этого Глинка уехал за границу, и когда возвратился, чтобы переменить паспорт, намереваясь остаться в России только на сутки, то встретился с хорошенькой девушкой Ивановой<sup>27</sup>. Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в нее и, не долго думая, вместо того чтобы переменить паспорт и ехать за границу, женился. После этого я долго его не видала; он получил место при императорской капелле<sup>28</sup> и стал реже являться среди старых друзей.

Потом я встретила его глубоко разочарованным, скорбевшим оттого, что близкие его сердцу не поняли этого сердца, созданного, как он уверял, для любви. Но понял ли он и сам ту женщину, от которой ожидал любви и счастья?..

Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть не только прозорлива, но и ясновидяща, иначе она не истинна; а потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было

только увлечением красотою этой женщины. Но как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Семейная жизнь скоро ему надоела; грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе<sup>29</sup>, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день; поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов Кукольника<sup>30</sup>, своего приятеля. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел; мы и плакали и смеялись по воле его. У него был очень небольшой голос, но он умел ему придавать чрезвычайную выразительность и сопровождал таким аккомпанементом, что мы его заслушивались. В его романсах слышалось и близкое искусное подражание звукам природы, и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Более других остались в моей памяти: «Ходит ветер у ворот...» и «Пароход» с его чудно подражательным аккомпанементом; потом что-то вроде баркаролы, наконец, и колыбельная песнь:

Уснули ль голубые  
Сегодня, как вчера?<sup>31</sup>

Эту последнюю певала и я, укачивая маленького сына<sup>32</sup>, который сквозь сон за мною повторял: уснули габые...

Моя маленькая квартира была в нижнем этаже на Петербургской стороне, в Дворянской улице. Часто народ собирался кучкой у окна, заслышавши Глинку. Однажды он передразнивал разбитую шарманку, наигрывавшую у моего окна, с такою точностью и комизмом, что мы помирились со смеху. Бедный шарманщик пришел сначала в изумление, что у нас в комнате повторяются фальшивые звуки его шарманки со всеми дребезжащими ее нотками, а потом вошел в неописанный восторг и долго не мог надивиться искусству Глинки; а он, мой голубчик, увлекшись веселостью своих звуков, начал играть на темы шарманки вариации и ими восхитил не только нас, своих почитателей, но и толпу, стоявшую у окна, которая по окончании вариаций разразилась самым восторженным рукоплесканием. Он часто играл нам свою «Камаринскую», но когда хотел меня разутешить, то пел песнь Финна, на известный нам мотив, усвоенный им во время поездки на Иматру. За такие любезности я угощала его пирогами и ватрушками, которые он очень любил. Завидя перед обедом одно из таких кушаньев, он поворачивал свой стул несколько раз кругом, складывал руки на груди и отвешивал по глубокому поклону столу, ватрушкам и мне. Он говорил, что только у добрых женщин бывают вкусные пироги. Не знаю, насколько это справедливо, замечая только, что это было его мнение; любимый же его напиток было легкое красное вино, а десерт – султанские финики. Чай он пил всегда с лимоном. Если все это являлось у нас для него, он был совершенно счастлив, играл, пел, шутил остроумно и безвредно для кого бы то ни было. Лучше и мягче характера я не встречала. Мне кажется, что так легко было бы сделать его счастливым. Он имел детские капризы, изнеженность слабой болезненной женщины; не любил хлопотать о мелочах житейских – и хотя был расчетлив, но никогда не брал медных денег в руки и оставлял такую сдачу купцу. Иногда лень и слабость до того одолевали его, что, как рассказывали мне люди, ему близкие, он не мог пошевелиться и просил, например, кого-нибудь из присутствующих, чтобы поправили полу его халата, если она была раскрыта. Изнеженность доходила у него до того, что когда поехал он со мной и моим семейством в Малороссию<sup>33</sup>, то, извиняясь слабостью нервов, не позволявшею ему ехать спиной к лошадям, он допустил, несмотря на самую утонченную свою вежливость, сидеть ехавшую со мною девицу на переднем месте кареты, а сам занял в ней первое. На станциях я расплачивалась за лошадей, заказывала обед или завтрак и прочее, а он, выйдя из кареты, тотчас садился в угол станционного дивана и ни во что не вмешивался. Во время же переезда от станции до станции разговаривал, пел из задуманной уже оперы «Руслан и Людмила»<sup>34</sup> и особенно восхищал нас мотивом, который так ласково звучит в арии:

О Людмила,  
Рок сулил нам счастье,  
Сердце верит...

и проч., проч.

Ах, какая чудная музыка! Какая душа в этой музыке, какое гармоническое соединение чувства с умом и какое тонкое понимание народного колорита... Грустно мне было и больно, когда я, долго мечтавшая о счастье увидеть «Руслана и Людмилу» на театре и считавшая это почти невозможным по отдаленности жительства моего от Петербурга, наконец, увидела эту оперу в 1858 году!

Возможно ли любимое дитя гениального человека так исказить постановкою и то, над чем с такою любовью трудился гений – представить русской публике в жалком, во всех отно-

шениях, виде? Я плакала от грустного воспоминания при знакомых, дорогих сердцу мотивах и разрывалась от досады за все остальное.

В артистическом мире все должно гармонировать, все должно быть отчетливо и достойно целого. Не говоря об исполнении самой музыки, что это были за декорации? Большая голова великана так близко поставлена к авансцене, что все чудесное и фантастическое, присвоенное ей поэтом, поневоле переходит в пошлый фарс; а поле, усеянное костями, разве похоже на то, о котором мечтал Пушкин?.. Наконец, сражение на воздухе Карла с Русланом разве не смешная штука? Неужели нельзя было придать этому всему той волшебной неясности и неопределенности, каких требует смысл поэмы и условие вкуса? Несмотря на разнхарактерность мотивов этой оперы, совершенно согласных с национальностью и особенностями действующих лиц, она мало действует на публику; я предполагаю, что причина тому именно неудачная обстановка.

Чтобы насладиться этой музыкою, надобно сидеть в театре, зажмуря глаза; я так делала и была минутами счастлива. Неужели у нас не найдется даже после смерти Глинки живая душа, которая бы взялась сделать то, что он желал? А он так страстно любил это последнее свое дитя! В этой опере он выражал свою последнюю любовь, это была мелодия лебединой песни и гармоническое сказание о чувствах души, которая изливалась в музыке, хотя и не всем доступной, но полной поэзии.

Приехавши из Малороссии в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке, и когда мне сказали, что здоровье его сильно расстроено, я не решилась просить его к себе, а послала сына узнать, когда он может меня принять.

Обласкав сына, которого видел в колыбели и сам учил петь кукуреку, играя с ним на ковре, он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство, не изменяясь никогда в своем свойстве. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами, а подле ломберный стол, тоже с нотами, и я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. При этом свидании он не говорил о невозвратных прошлых мечтах и предположениях<sup>35</sup>, которые так весело улыбались ему при отъезде моем в Малороссию. Вообще он избегал говорить о себе и склонял разговор к моему тогдашнему незавидному положению, расспрашивал о моих делах с живым участием и только мельком касался своих обстоятельств и намерений. Когда я ему сказала, что предполагаю приняться за переводы, чтобы облегчить мужу бремя забот о средствах существования, то он усердно предложил свои услуги и при этом употребил такие выражения: *«День, когда я смогу для вас что-нибудь сделать, будет прекрасным для меня»*.

При этом он мне сообщил, что занимается духовною музыкою, сыграл, кстати, херувимскую песнь и даже пропел кое-что, вспоминая былые времена.

Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила (как будто чувствовала, что его больше не увижу), чтоб он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновенье...», он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг! В конце беседы он говорил, что сочинил какую-то музыку, от которой ждет себе много хорошего, и если ее примут так, как он желает, то останется в России, съездив только на время на воды, чтобы укрепить свое здоровье для дальнейшей работы; если же нет, то уедет навсегда. «Вреден север для него»<sup>36</sup>, – подумала я и рассталась с поэтом в грустном раздумье.

При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими, когда он уведомит, что в состоянии принять. Я не собралась больше к Глинке, т. е. он не собрался меня пригласить, как мы условились, а через два года, и именно 3 февраля (в день именин моих), его не стало! Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина, и я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих! День

был ясный, солнечный, светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки, как бы желая взглянуть в последний раз на бранные останки нашего незабвенного композитора.

## Дельвиг и Пушкин

### *Письмо Павлу Васильевичу Анненкову при посылке воспоминаний о Глинке*

Вы не можете себе представить, как барон Дельвиг был любезен и приятен, особенно в семейном кружке, где я имела счастье его часто видеть. Вспоминая анекдот о Пушкине, где Александр Сергеевич сказал Прасковье Александровне Осиновой в ответ на критику элегии: «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна!»<sup>1</sup>: «Я думаю, мне и барону Дельвигу вполне позволительно не всегда быть умными, не могу не сравнить их мысленно и, припоминая теперь склад ума барона Дельвига, я нахожу, что Пушкин был не совсем прав; нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность – всем светом признанную и неоспоримую, – он, точно, не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен. В таком же смысле, как и Фигаро восклицает: «Ах, как они глупы, эти умные люди!» Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приятнее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор. Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный, он умел счастливить всех его окружающих. Хотя Дельвиг не был гениальным поэтом, но название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей. Его поэзия, его песни – мелодия поэтической души. Помните романс его:

Прекрасный день, счастливый день!  
И солнце, и любовь!<sup>2</sup>

Пушкин говорил, что он этот романс прочел и прочувствовал вполне в Одессе, куда ему его прислали. Он им восхищался с любовью, которую питал к другу-поэту. Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было, и даже в конце пьесы стояла запятая!

Мне кажется, Дельвиг был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи и общества, в котором он жил. Лучший из друзей, уж конечно, он был и лучшим из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрек только сознательно ему можно сделать, это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей. Эта же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть все, что им было угодно: и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и если б они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно!», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было забавно. Я с ним и его женою познакомилась у

Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме, и это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз (от лениности произносить вполне мое имя и фамилию) название 2-ой жены, кото-

рое за мной и осталось. Вот как это случилось: мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал: «Это жена моя»; потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья».

У меня была книга (затеряна теперь), кажется, «Стихотворения Баратынского», которые он издавал<sup>3</sup>; он мне ее прислал с надписью: «Жене № 2-й от мужа безномерного б. Дельвига». Он очень радушно встречал обычных своих посетителей, и всем было хорошо близ него! *Подле него вы чувствовали себя столь непринужденно, столь надежно!* У меня были «Северные цветы» за все почти годы с подписью бароновой руки.

В альбоме моем (сделанном для портрета Веневитинова и подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти) Дельвиг написал мне свои стихи к Веневитинову: «Дева и Роза». Я уже говорила вам, что в это время занимала маленькую квартиру во дворе (в доме бывшем Кувшинникова, тогда уже и теперь еще Олферовского). В этом доме, в квартире Дельвига, мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери Надежды Осиповны принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу. Надежда Осиповна мне сказала, отпуская меня туда в своей карете: *«Замените меня, мой друг; вручаю этот образ – благословите им мою дочь от моего имени»*. Я с гордостью приняла это поручение и с умилением его исполнила. Дорогой Александр Сергеевич, грустный, как всегда бывают люди в важных случаях жизни, сказал мне шутя: *«А ведь мы в первый раз одни – вы и я»*. – *«И нам очень холодно, не правда ли?»* – *«Да, вы правы, очень холодно – 27 градусов»*, а сказав это, закутался в свой плащ, прижался в угол кареты, и ни слова больше мы не сказали до самой временной квартиры новобрачных. Там мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого (посаженной матери), оставалась, как ехала, в кацавейке; и это подало повод Пушкину сказать, что я похожа на царицу Ольгу. Несмотря на озабоченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною... Я заметила в этом и еще нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство благодарности: самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так; я помню, однажды потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, т. е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на меня: *«А эта дура в одной рубашке побежала туда через форточку»*. В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване против меня, поджавши, по своему обыкновению, ноги, и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал. Красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва! Помню еще одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нем дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! *Острота, быстрый и находчивый ответ* всегда ему нравились. Он мне однажды сказал, да тогда именно, когда я ему сказала, что нехорошо меня обижать – *меня, такую безобидную*. Выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя: *«Это в самом деле верно, вы такая безобидная и потом сказал: «Да с вами и не весело ссориться. Вот ваша кухня – совсем другое дело, и это приятно: есть с кем поговорить»*. Причина такого направления – слишком невысокое понятие о женщине – опять-таки, несмотря на всю гениальность, печать века. Сестра моя сказала ему однажды: *«Здравствуй, Бес!»* Он ее за то назвал божеством в очень милой записке. Любезность, остроумное замечание женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришел к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого; он подсел ко мне и начал говорить мне нежности *под пустым предлогом* и просить ручку, говоря: *«C'est si satin»*. Я ему отвечала: *«Satan»*; а сестра сказала шутя: *«Не понимаю, как вы можете ему в чем-нибудь отказать!»* Он от этой фразы в восторг пришел и бросился перед нею на колени в знак благодарности.

Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца. И, однако ж, он однажды мне говорил, кстати, о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: *«Ничего нет безвкуснее долготерпения и самоотверженности»*.

Приятно жилось в это время. Баронесса приходила ко мне по утрам: она держала корректуру «Северных цветов». Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавия у стихов Пушкина, напр.: «Кобылица молодая...» мы поставили «Мадригал такой-то...». Никто не сердился, а всем было весело. Потом мы занимались итальянским языком, а к обеду являлись к мужу. Дельвиг занимался в маленьком полусветлом кабинете, где и случилось несчастье с песнями Беранже, внушившее эти стихи:

Хвостова кипа тут лежала,  
А Беранже не уцелел,  
За то его собака съела,  
Что в песнях он собаку съел (bis).

Эти стихи, в числе прочих, пелись хором по вечерам. Пока барон был в Харькове, мы переписывались с его женою, и она мне прислала из Курска экспромт барона:

Я в Курске, милые друзья,  
И в Полторацкого таверне  
Живее вспоминаю я  
О деве Лизе, даме Керне!

Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женою барона Дельвига, сложенные когда-то вместе с Баратынским:

Там, где Семеновский полк,  
В пятой роте, в домике низком  
Жил поэт Баратынский  
С Дельвигом, тоже поэтом.  
Тихо жили они.  
За квартиру платили немного,  
В лавочку были должны,  
Дома обедали редко.  
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,  
Шли они в дождик пешком  
В панталонах триковых тонких,  
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),  
Шли и твердили шутя:  
Какое в Россиянах чувство!

А вот еще стихи барона: пародия на «Смальгольмского барона», переведенного Жуковским<sup>4</sup>:

До рассвета поднявшись, извозчика взял  
Александр Ефимыч с Песков.  
И без отдыха гнал от Песков чрез канал  
В желтый дом, где живет Бирюков.

Не с Цертелевым он совокупно спешил  
На журнальную битву вдвоем;  
Не с романтиками переведаться мнил  
За баллады, сонеты путем,  
Но во фраке был он, был тот фрак заношен,  
Какой цветом, нельзя распознать,  
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,  
Двадцатифунтовая тетрадь.

.....

Его конь опенен, его Ванька хмелен,  
И согласно хмелен с седоком.  
Бирюкова он дома в тот день не застал:  
Он с Красовским в цензуре сидел,  
Где на Олина грозно Фон Поль напирал,  
Где....улыбаясь глядел.  
Но изорван был фрак, на манишке табак,  
Ерофеичем весь он облит;  
Не в журнальном бою, но в питейном дому  
Был квартальными больно побит.  
Соскочивши на Конной с саней у столба,  
Притаяся у будки, он стал,  
И три раза он крикнул Бориса-раба,  
Из харчевни Борис прибежал.  
«Подойди-ка, мой Борька, мой трагик смешной,  
И присядь ты на брюхо мое;  
Ты скотина, но право, скотина лихой.  
И скотство по нутру мне твое».

Вскоре после того, как мы читали эту прекрасную пародию, барон Дельви́г ехал куда-то с женой в санках через Конную площадь; подъезжая к будке, он сказал ей очень серьезно: «Вот, на самом этом месте соскочил с саней Александр Ефимович с Песков, и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова». Мы очень смеялись этому точному указанию исторической местности. Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое словно «забавно», это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном, или же досадном для него!.. Мне очень памятна его манера серьезно шутить, между прочим по следующему случаю: один молодой человек преследовал нас с Софьей Михайловной насмешками за то, что мы смеемся, повторяя часто фразу из романа Поль де Кока<sup>5</sup>, которая ему вовсе не казалась так смешною. Нам стоило только повторить эту фразу, чтобы неудержимо долго хохотать. Эта фраза была одного бедного молодого человека (разбогатевшего потом) взята из романа «La maison Blanche». Молодой человек в затруднении перед балом, куда приглашен школьным товарищем, знатным молодым человеком; весь его туалет собран в полном комплекте, недостает только шелковых чулков, без которых невозможно обойтись; у него были одни, почти новые, да он ими ссудил свою возлюбленную гризетку..... швею в модном магазине. Она пришла на помощь, чтоб завить волосы своему приятелю, но увы, относительно чулков объявила, что чулки эти даны ею взаймы г-же... она тоже дала взаймы своей подруге, которая, в свою очередь, ссудила ими своего друга, а друг этот награжден от природы огромнейшими *икрами* и потому, надев их раз, так изувечил, что они больше никому не могут годиться. (Она) кончила свою (речь) философическим замечанием своему Robineau: «Виданное ли дело, чтобы любовник потребовал обратно то, что дал вам в долг?»

На это г-н Робино возразил комическим тоном, чуть не плача: *«Когда имеют всего полторы тысячи ливров дохода, не щеголяют в шелковых чулках!»*

Не мы одни с баронессою находили юмор в этой жалостливой фразе, из наших знакомых один только помянутый выше молодой человек не видел в ней смешного. Раз он резко выразил свое удивление, что мы так долго смеемся совсем не смешному. Мы сидели в это время за обедом, и барон Дельвиг, стоя за столом в своем малиновом шелковом шлафроке и разливая, по обыкновению, суп, сказал: *«Я с тобой согласен, мой милый, я не щеголяю в шелковых чулках совсем не смешно, а жалко!»*

Никогда не забуду его саркастической улыбки и забавной интонации голоса при слове «жалко!».

Разбирая свои старые бумаги и письма, я нашла очень интересные записки. Одну собственноручную барона Дельвига, о деле касательно моих интересов, которая начинается так: *«Милая жена, очень трудно давать советы; спекуляция Петра Марковича может удастся или же нет; и в том и в другом случае будете раскаиваться (если отдадите имение). Повинуйтесь сердцу – это лучший совет мой...»* Записка его жены, в год женитьбы Александра Сергеевича, именно в тот год, когда мы ездили на Иматру<sup>6</sup> и я с ними провела лето в Колтовской, у Крестовского перевоза. Я уехала в город прежде их, когда мне представился случай достать выгодную квартиру; вскоре, кажется в конце августа, она мне писала: *«Лев уехал вчера, Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблен больше, чем когда-либо. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привел фразу – кажется, 2-жи Виллуа, которая говорила сыну: «Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене – ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас». Свадьба будет в сентябре.*

Действительно, в этот приезд Пушкин казался совершенно другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность счастливить другое существо...

Таким точно я его видела потом в (другие) разы, что мне случалось его встретить с женою или без жены. С нею я его видела два раза. В первый это было в другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась; они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне прежде (Прасковья Александровна была уже с нею знакома, я же ее видела только раз у Ольги<sup>7</sup> одну). Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила, шутя, что это он сделал оттого, что он муж. Потом я его встретила с женою у матери, которая начинала хворать. Наталия Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал шутя: *«Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню».* Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислую капустою: *«Это шотландское блюдо»*, заметив при этом, что он никогда ничего (не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил... Наталия Николаевна, была в папильотках: это было перед балом... Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорил однажды,

шутя, Анне Николаевне, которая его поздравляла с неожиданною в нем способностью себя вести, как прилично любящему мужу: «*Это только хитрость*».

Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало, казаться хуже, чем он был... В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич.

Я теперь опять обращаюсь к Дельвигу. Припоминаю все это время, и как он был добр ко всем и ласков к родным, друзьям и даже только знакомым. Вскоре после возвращения из Харькова он или выписал к себе, или сам привез, не помню, двух своих маленьких братьев, 7 и 8 лет. Старшего, Александра, он называл классиком, меньшего, Ивана, – романтиком и таким образом представил их однажды вечером Пушкину. Александр Сергеевич нежно, внимательно их рассматривал и ласкал, причем барон объявил, ему, что меньшей уже сочинил стихи. Александр Сергеевич пожелал их услышать, и маленький Дельвиг, не конфузясь нимало и не гордясь своей ролью, медленно и внятно произнес, положив свои ручонки в обе руки Александра Сергеевича:

Индиянди, Индиянди, Индия!  
Индиянди, Индиянди, Индия!

Александр Сергеевич погладил его по голове, поцеловал и сказал, что он точно романтик. Где-то он теперь? Как бы мне хотелось на них взглянуть! Вспоминая о Дельвиге, я невольно припоминаю еще многое о Пушкине и, разбирая записки Дельвига, сохранившиеся у меня, нашла еще несколько записок Пушкина. Это относится к тому времени, когда он узнал о смерти моей матери и о тесных обстоятельствах, вследствие которых одна дама, принимавшая во мне большое участие (а именно Елизавета Михайловна Хитрово<sup>8</sup>), переписывалась со мною, хлопотала о том, чтобы мне возвратилось имение, проданное моим отцом гр. Шереметеву. Я интересовалась этим имением по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом отношении оно не могло быть не интересно, потому что иметь что-нибудь или не иметь ничего все-таки составляет громадную разницу.

Не воздержусь умолчать об одном обстоятельстве, которое навело меня на эту мысль выкупить без денег свое проданное имение! Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. «Не узнаете меня, ваше превосходительство?» – сказал он, поклонившись в пояс. «Извини, голубчик, не узнаю тебя, припомни мне, где я тебя видела». – «А я из вашей вотчины, ваше превосходительство. Я помню вас, как вы изволили из ваших ручек потчевать водкой отца моего, и жили тогда в нашей чистой избе, а в другой, чистой же, ваш батюшка и матушка». – «Помню, помню, мой милый, – сказала я (хотя вовсе его-то самого не помнила). – Так ты пришел со мной повидаться, это очень приятно». – «Да кроме того, – сказал он, – я пришел просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе; мне пишут мои старики, сходил бы ты к нашей прежней госпоже, к генеральше такой-то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады-радешеньки ей опять принадлежать, что при ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего, что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки их, у матушки и у них самих потом; скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметеву внести половинную цену за имение и сами на свой счет выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять».

Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решила его сообщить Елизавете Михайловне Хитровой вскоре после кончины матери моей, и она по доброте своей взялась хлопотать.

Вот 1-я записка ее<sup>9</sup>:

«J'ai recu hier matin votre bonne lettre, Madame, j'aurais ete Vous voir sans une grave indisposition de ma fille. Si Vous etes libre de venir demain a midi, je Vous recevrai avec bien de la joie.

*El. Hitroff*».

Вследствие этой-то записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете, в ней меня отправил к Хитровой.

2-я записка Хитровой написана рукою Александра Сергеевича. Вот она:

«Chere Madame Kern, notre jeune a la rougeole et il n'y a pas moyen de lui parler; des que ma fille sera mieux j'irai Vous embrasser», – а ее рукою —

*«El. Hitroff»*.

Опять рукою Александра Сергеевича:

«Ma plume est si mauvaise que Madame Hitroff... s'en servir et que c'est moi qui ai l'avantage d'etre son secretaire.

*A.*».

Следует еще одна записочка от Елизаветы Михайловны Хитровой (ее рукою):

«Void, ma tres chere, une lettre de Che(remete)ff – dites moi ce qu'elle contient. J'allais Vous la porter moi-meme, mais j'ai un vrai malheur, car voila qu'il pleut.

*E. Hitroff*».

Потом за нее еще рукою Александра Сергеевича, предпоследняя об этом неудавшемся деле:

«Voici la reponse de Ch(eremete)ff. Je desire, qu'elle soit agreable. Madame Hitroff a fait ce qu'elle a pu. Adieu, belle dame, soyez tranquille et contente et croyez a mon devouement».

Самая последняя была уже в слишком шуточном роде, – я на нее подсадовала и тогда же уничтожила. – Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне (между прочим):

«Quand Vous n'avez rien pu obtenir, Vous, qui etes une jolie femme, qu'y pourrai je faire, moi, qui ne suis pas meme joli gargon... Tout ce que je puis ronseiller, – c'est de revenir a la charge etc., etc., – et puis jouant sur le dernier mot...»

Меня это огорчило и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались и виделись уже очень редко – кроме визита единственного им с женою Прасковье Александровне. Этой последней вздумалось соорудить *partie fine*<sup>19</sup>, и мы обедали все вместе у Дюме<sup>10</sup>, а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только – в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова, я их прочла с большим удовольствием, особенно «Ятаган»<sup>11</sup>. Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал: «Entendons-nous (Попробуем понять друг друга (франц.)). Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием». Теперь я себе припомнила несколько его суждений о романах: он очень любил Бульвера<sup>12</sup>,

---

<sup>19</sup> Кутеж (фр.).

«цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал. Вследствие чего мне показался замечателен случай, что его напечатали в той же книжке «Библиотеки для чтения», где и «Воспоминания». Еще я помню (это было во время моего пребывания в одном доме с бароном Дельвигом). Тогда только что вышел во французском переводе роман Манцони «I promessi sposi» («Les fiances») <sup>13</sup> – «Обрученные». Он говорил об них: «*Я ничего красивее не читал*».

Возвратимся к обеду у Дюме. За десертом («Les 4 men-diants») г-н Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле *une partie fine*, вошел в нашу комнату *un peu cavalierement*<sup>20</sup> и спросил: «*Comment cela va ici?*»<sup>21</sup>. У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Барон Дельвиг очень любил такие эксцентрические проделки. Не помню во все время нашего знакомства, чтобы он когда-нибудь один с женою бывал на балах или танцевальных вечерах, но очень любил собрать несколько близко знакомых ему приятных особ и вздумать поездку за город, или катанье без церемонии, или даже ужин дома с хорошим вином, чтобы посмотреть, как оно на нас, ничего не пьющих, подействует. Он однажды сочинил, катанье в Красный Кабачок вечером, на вафли. Мы там нашли тогда пустую залу и бедную арфянку, которая, вероятно, была очень счастлива от фантазии барона. В катанье участвовали только его братья, кажется, Сомов, неизбежный, никогда не докучливый собеседник и усердный его сотрудник по «Северным цветам», я да брат Алейсей Вульф. Катанье было очень удачно, потому что вряд можно было бы выбрать лучшую зимнюю ночь – и лунную, и не слишком холодную. Я заметила, что добрым людям всегда такие вещи удаются оттого, что всякое их действие происходит от избытка сердечной доброты. Он, кроме прелести неожиданных удовольствий без приготовлений, любил в них и хорошее вино, оживляющее беседу, и вкусный стол; от этого он не любил обещать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы, и в этом случае он был одного мнения с Александром Сергеевичем. Вот, по случаю обеда у них, что раз Дельвиг писал Пушкину:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать  
Дурного масла и яиц гнилых,—  
Так приходи со мной обедать  
Сегодня у своих родных.

Вот все, что осталось в моей памяти в добавление к тому, что вам уже сообщила прежде.

При этом присоединяю некоторые еще записки: может, они понадобятся вам.

---

<sup>20</sup> Немножко развязно (*фр.*).

<sup>21</sup> Ну, как здесь идут дела? (*фр.*)

## Три встречи с императором Александром Павловичем (1817–1820 гг.)

### I

Теперь, когда я ослепла и мне прочли чрезвычайно замечательное произведение графа Л. Н. Толстого «Война и мир»<sup>1</sup>, где, между прочим, говорится о страстном, благоговейном чувстве, ощущавшемся всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования, мне так ясно, так живо, так упоительно представилась та эпоха, и воротились те живые, никогда не забываемые мною воспоминания, о которых мне захотелось рассказать.

Расскажу первую – незабвенную встречу мою с императором Александром Павловичем в 1817 году. В Полтаве готовился смотр корпуса г-на Сакена<sup>2</sup>, в котором муж мой, Керн, служил дивизионным командиром. Немного прибитая на цвету – как говорят в Малороссии, – необыкновенно робкая, выданная замуж и слишком рано, и слишком неразборчиво, я привезена была в Полтаву. Тут меня повезли на смотр и на бал, где я увидела императора.

У меня была подруга еще моложе меня и вышедшая замуж тоже за генерала, старее гораздо ее, но образованного, приятного и очень умного человека, который умел с нею обращаться, – и мы с нею вместе ездили на смотр и вместе стояли на этом бале, против группы, где стоял император, Сакен и его *état-major*<sup>22</sup>.

Я находила, что эта моя подруга гораздо лучше меня одета: на ней была куафюра с пером, очень украшавшая ее молодое, почти детское личико, и она мне сказала, что муж выписал ей эту куафюру потому, что государь любил подобный головной убор без других украшений. Как мне досаден сделался мой голубой с серебряными листьями цветков.

Сакен был со мною знаком проездом через Лубны, где я жила у отца до замужества, останавливался у нас в доме и весьма благоволил ко мне.

Его позволение Керну на мне жениться было какое-то нежное поздравление близкого родственника, более чем начальника.

Он и указал государю на меня, и сказал ему, кто я. Император имел обыкновение пропустить несколько пар в польском прежде себя и потом, взяв даму, идти за другими. Эта тонкая разборчивость, только ему одному сродная, и весь он, с его обаятельной грацией и неизъяснимою добротою, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на седьмом небе, и от ласковости этих речей, и от снисходительности к моим детским понятиям и взглядам!

Он говорил о муже моем, между прочим: «*Храбрый воин*». Это тогда так занимало их! Потом сказал: «*Приезжайте ко мне в Петербург*». Я с величайшею наивностью сказала, что это невозможно, что мой муж на службе. Он улыбнулся и сказал очень серьезно: «*Он может взять полугодовой отпуск*». На это я так расхрабрилась, что сказала ему: «*Лучше вы приезжайте в Лубны! Лубны – это такая прелесть!*». Он опять засмеялся и сказал: «*Приеду, непременно приеду!*»

---

<sup>22</sup> Штаб (фр.).

Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, рассказала мужу весь разговор с царем и умоляла устроить мне возможность еще раз взглянуть на него, что он и исполнил.

Я поехала к обедне в маленькую полковую церковь, разбитую шатром на поле Полтавской битвы, у дубового леска, и опять имела счастье его увидеть, им любоваться и получить сперва серьезный поклон, потом, уходя, ласковый, улыбающийся.

По городу ходили слухи, вероятно несправедливые, что будто император спрашивал, где наша квартира, и хотел сделать визит... Потом много толковали, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву. На основании этих слухов губернатор Тутолмин<sup>3</sup>, очень ограниченный человек, даже поздравил Керна, на что тот с удивительным благоразумием отвечал, что он не знает, с чем тут поздравлять? Сходство с королевой было в самом деле, потому что в Петербурге один офицер, бывший камер-пажом во дворце при приезде королевы, это говорил моей тетке, когда меня увидел. Может быть, это сходство повлияло на расположение императора к такой неловкой и робкой тогда провинциалке!

## II

Многие восхищались в то время – кто Сухозанетом<sup>4</sup>, который был тогда очень молодым генералом, кто графом Орловым<sup>5</sup>, генерал-адъютантом.

Я никого не замечала, ни на кого не смотрела: разве можно смотреть по сторонам, когда чувствуешь присутствие божества, когда молятся?

Это были только мужчины: красивые ли, не красивые – мне было все равно. А он был выше всего! Я не была влюблена... я благоговела, я поклонялась ему!.. Этого

чувства я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В нем не было ни задней мысли о том, чтобы получить милость посредством благосклонного внимания царя, – ничего, ничего подобного... Все любовь чистая, бескорыстная, довольная сама собой.

Если бы мне кто сказал: «Этот человек, перед которым ты молишься и благоговеешь, полюбил тебя, как простой смертный», я бы с ожесточением отвергла такую мысль и только бы желала смотреть на него, удивляться ему, поклоняться, как высшему, обожаемому существу!..

Это счастье, с которым никакое другое не могло для меня сравниться!

## III

А что говорили мне все окружающие царя, танцую со мною, право, не помню, и не смотрела я на них и не слушала их. Они все толковали о прелестной музыке Болугианского оркестра, и действительно, она была обворожительна; царь тоже ею восхищался.

Возвратясь после смотра домой в Лубны, я предалась мечтаниям ожидающего меня чувства матери, о котором пламенно молилась и желала. Тут примешивалась теперь надежда, позже осуществившаяся, что император будет приемником моего ребенка!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.